

**ТЕКСТ, НЕ НАПИСАННЫЙ СИНЯВСКИМ,
ИЛИ «АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО» НАИЗНАНКУ***Вера Владимировна Калмыкова*

Кандидат филологических наук,
член Союза писателей г. Москвы, шеф-редактор журнала
«Философические письма. Русско-европейский диалог».

Адрес: ул. Старая Басманная, 21/4,
Москва, Российская Федерация 105066, каб. 215.
E-mail: vkalmykova67@mail.ru

В статье исследуются традиции русского диссидентства и типы личности протестующих на примере П. Я. Чаадаева и А. Д. Синявского. Анализ позволяет провести целый ряд параллелей, которые устанавливаются между мыслителями благодаря таким концептам, как память жанра (письма к даме), память места (вопрос об издании рукописи), память образа жизни (жанр прогулки и прогулка как часть поведения). Вместе с тем намечен и ряд различий, в числе которых невозможность для А. Д. Синявского принять «диагноз» «сумасшествие» как данность: невозможность такой реакции предопределила история с отцом писателя, пострадавшим от репрессий в начале 1950-х гг.

Ключевые слова: П. Я. Чаадаев, «Апология сумасшедшего», А. Д. Синявский, «Спокойной ночи», русское диссидентство, эпистолярный жанр, гений места, прогулка.

DOI 10.17323/2658-5413-2019-2-4-76-89

Прямой словарный перевод латинского слова «диссидент», как известно, — несогласный. В России, однако, бытует и синонимичное понятие — *инакомыслящий*. Не углубляясь в причины и разнообразные проявления диссидентского движения в нашей стране, сосредоточусь на вкладе в этот многовековой процесс двух деятелей культуры, противопоставивших наличному порядку вещей и способу мышления о нем именно *иную мысль*, отличающуюся от общепринятой в их время. Это Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856) и Андрей Донатович Синявский (1925–1997). Их деятельность, в случае Чаадаева протекавшая в сфере философии, а в случае Синявского — художественной литературы и смежных областей, привела к непростой и нетипичной социальной

ситуации для каждого; вместе с тем между обеими фигурами довольно много общего, хотя важны и различия, среди которых конституирующим может быть названо одно. Но чтобы понять, какое, следует проанализировать достаточно широкий контекст явлений, связанных с паттерном диссидентства и конкретными проявлениями в каждом случае.

Необходима оговорка: конечно, *ни один текст* П. Я. Чаадаева не мог бы быть написан Андреем Донатовичем Синявским, тем паче Абрамом Терцем. Самая явная причина заключается в различии культурных парадигм, к которым принадлежали мыслители. Дворянская культура, породившая и воспитавшая Чаадаева, кристаллизовавшая его личность, допускала иную степень открытости автора к читателям, чем пореволюционная и даже послесталинская советская, хотя Синявский и говорил о «советском классицизме». Во-вторых, нужно отметить, что авторы принадлежали к разным типам личности. Чаадаев мыслил себя и воспринимался окружающими как потенциальный великий государственный деятель, *русский Перикл*, если перефразировать А. С. Пушкина; Синявский же, напротив, всячески подчеркивал, что он *частное лицо*, что политика и устройство общества — не его специальность даже в теоретическом плане, и одним из способов это акцентировать было создание литературной личности *маргинала* Абрама Терца, черного героя, вора-карманщика.

Совокупно по обеим причинам Чаадаев фактически не оставил автометаописаний, и мы плохо представляем себе, как происходил, в авторской интерпретации, его творческий процесс. Мы можем с уверенностью утверждать лишь, что он предпочитал писать в уединении. Синявский, напротив, делал автометаописания частью художественного текста буквально с первого серьезного произведения, а именно с повести «Суд идет», с которой и началась его *воровская*, диссидентская биография, вскоре заменившая мирную, университетскую.

Вместе с ними аналогия между Чаадаевым и Синявским напрашивается: оба были авторами произведений словесности (ведь и философия является *словесной* дисциплиной), оба предложили революционную для своего времени аксиологическую систему мышления, взорвав устоявшийся порядок говорения о предмете, оба полагали Россию центром своих умопостроений, оба пострадали от власти и от общества (или части общества), чьи интересы власть в той или иной степени представляла. В поведении славянофилов и студентов, требовавших расправы над Чаадаевым, можно без труда усмотреть сходство с советскими писателями, добровольно и от души выступившими на стороне обвинения в процессе Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Николай I, как заметил В. К. Кантор, скорее защитил его от разгневанного общества — в отличие от советских охранителей, во многом обеспечивших эскалацию народной ненависти к «писателям-врагам». В плане связи с народом Синявскому повезло боль-

ше: известен эпизод, когда один из учеников, позавидовав масштабам его славы, заявил, что он бы «за такой шухер <...> на вышак согласился» (Синявский, 1998: 83–84). Никто из современников Чаадаева, насколько известно, не завидовал его репутации, хотя николаевская власть обошлась с нарушителем общественного спокойствия не в пример мягче советской.

И Чаадаев, и Синявский неоднократно сетовали на политизированность культурного процесса в России, поэтому из уважения к авторам не станем рассматривать этот аспект и сосредоточимся на других. Во-первых, проанализируем тип мышления, к которому принадлежали и Чаадаев, и Синявский, во-вторых — совершим экскурс в области национальной культурной памяти.

Насколько известно, первым, кто объединил Чаадаева и Синявского не как *инакомыслящих*, а как свободных *мыслителей*, оказался М. Н. Эпштейн в статье «Мыслительство» (Эпштейн). Интересно, что Эпштейн не отождествлял мыслительство с мудростью и философией, заявляя, что мудрость требует дисциплины, аналитического подхода, строгости, а мыслительство безгранично, раскованно, междисциплинарно. Философ или мудрец создает законченные, завершённые системы мышления; мыслитель не тщится закончить свои труды, давая мысли двигаться в ее собственном направлении. Мыслительство по сути инакомысленно, ибо все перемешивает, ни от чего не отказывается, не выстраивает аксиологических лестниц. Оно скорее удивляет, по Аристотелю, чем доказывает. Поэтому его основной инструмент — не анализ, но *остранение* (термин В. Б. Шкловского). Словом, «мудрость — успокоенность ума на пост-дисциплинарном уровне», а мыслительство — «беспокойство ума, которое побуждает его метаться, перебегать с уровня на уровень, нарушать правила одного уровня вторжением понятий другого уровня» (Там же).

Примем сделанное Эпштейном обобщение как основу для дальнейших размышлений, хотя, конечно, в сочинениях Чаадаева много материала, опровергающего, на первый взгляд, *внедисциплинарность* его подхода. Сам он как будто настаивал на строгости и научности своих размышлений; однако незавершенность текста «Апологии сумасшедшего» и сама структура, а точнее бесструктурность этого текста, представляющего собою скорее апологию *любимой мысли* автора «Философических писем», а не его текущего *гражданского статуса*, может служить, при соответствующем стилистическом анализе, подтверждением правоты исследователя.

Чаадаева и Синявского роднят многие моменты из области культурной памяти, и о них хочется сказать отдельно. Во-первых, это *память жанра* — в данном случае эпистолярного. «Философические письма» обращены к даме; знаменитые «Прогулки с Пушкиным» — тоже письма и тоже к даме, к жене, к М. В. Розановой. Интонация Чаадаева, конечно, совершенно иная, учительная,

он претендует на роль интеллектуального руководителя читательницы, чего совершенно нет у Синявского, предлагающего скорее совместное удивленно-радостное постижение, чем патронаж на любом уровне. Обращение к женщине в обоих случаях означает апелляцию к *инстанции, сохраняющей культуру и передающей ее по наследству*. Недаром Ю. М. Лотман, в исследовании «Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX века)» рассматривавший феномены и переписки, и домашней библиотеки как особую часть «женского мира», отмечал особую роль материнской библиотеки: «Домашние библиотеки женщин конца XVIII — начала XIX века сформировали облик людей 1812 года и декабристской эпохи, домашнее чтение матерей и детей 1820-х годов — взрастило деятелей русской культуры середины и второй половины XIX века» (Лотман, 1994: 50).

Во-вторых, это *память места*, в данном случае издания книги. Где ей увидеть свет — в Европе или в России? Этот вопрос весьма занимал Чаадаева, о чем свидетельствует письмо П. А. Вяземскому от 9. 3. 1834. Получается, что автор имел возможность для публикации «Писем» (вот так, во множественном числе!) за границей, но предпочел сделать это дома, поскольку «большой адресат» книги — *мы*, она написана *для нас*. Синявский с самого начала не рассматривал возможности выхода повести «Суд идет» в СССР и планировал издание за границей, но настоящие адресаты текста находились все же здесь, хотя получили они книгу много позже и весьма прихотливым путем. Результат в обоих случаях оказался плачевным для авторов, однако так или иначе предприятие имело успех: Чаадаева называют основоположником русской философии, а Синявский выполнил ту же роль по отношению к диссидентству, в основе которого то же явление — свободно развивающаяся мысль.

В-третьих, это *память образа жизни*. Как бы ни складывались обстоятельства, где бы и когда бы Чаадаев ни находился, он всегда *гулял* — опять-таки в письмах рассыпаны упоминания о прогулках, которые он с завидной регулярностью предпринимал с двух до четырех часов дня. Прогулки есть необходимая часть дворянского быта, иначе немислимо, но вдобавок прогулка как пограничье между метафизикой и физикой. Размеренность шага сообщает особенный ритм размышлениям и в результате писанию; письма Синявского к жене, включавшие текст будущей пушкинской книги, рождались в заключении, и автор, не имея возможности свободно гулять в реальности, *гулял* мысленно — *в садах русской словесности*. Еще до «диагноза» Николая I у Чаадаева в ходе обыска забрали все бумаги, и он лишился возможности продолжать начатые сочинения; с этим связано признание: «я скучаю, как никогда в жизни», и просьба прислать новые книги, поскольку наконец появилось «удобное время для того, чтобы читать и учиться» (Чаадаев, 1991г: 112). Синявский в лагерных письмах

к жене постоянно просил присылать ему все новые книги, видимо, тоже потому, что появилось *удобное время читать и учиться...*

Существует и еще один момент, правда, микроскопический, но все же заслуживающий упоминания. В «Апологии сумасшедшего» Чаадаев вдруг разово высказался в несвойственной ему легкой, даже водевильной манере: его мысль о России неожиданно «разбила свои оковы, бежала из своего монастыря и бросилась на улицу, *вприпрыжку* среди остолбенелой толпы» (Чаадаев, 1991а: 524) (выделено мною. — В. К.). Кажется, *вприпрыжку* бегущая в толпе мысль — прапрабабушка знаменитых *тоненьких эротических ножек* Пушкина, за которые Синявскому так досталось от обеих русских культур, как домашней, так и заграничной...

Три обозначенных пункта концептуализируются на материале русской культуры и не являют собой никакой загадки. Гораздо интересней четвертый, и здесь мы оказываемся на зыбкой почве бездоказательных предположений. Главный вопрос — насколько Синявский был знаком с наследием Чаадаева и как относился к феномену его личности и творчества. Синявский исчерпывающе редко упоминал Чаадаева. В тексте доклада «О критике», прозвучавшего на конференции в Лос-Анджелесе и опубликованного в журнале «Синтаксис» (1982. № 10), он привел слова Г. В. Иванова о том, что русский эмигрантский мир при отсутствии Николая I и Бенкендорфа признал бы, вне всякого сомнения для Иванова, Чаадаева сумасшедшим — точно так, как множество эмигрантских, а позже и российских писателей приняли в штыки «Прогулки с Пушкиным». Поэтому здесь мы вряд ли можем говорить именно о *памяти*, скорее — о естественном для личности определенного склада безотчетном воспроизводстве формы поведения, отражающей ее глубинные свойства.

Речь идет о *двойственности автора, высказывающегося словесно*. Для Чаадаева это французский и русский язык, причем предпочтение того или иного при конкретном речевом акте не разумелось само собой. Об этом свидетельствуют опять-таки письма. Помимо известной переписки с Пушкиным, в которой Чаадаев предлагал корреспонденту писать по-русски и объяснял причину, а тот отвечал, опять-таки с объяснениями, по-французски, можно привести также фрагмент письма к М. Я. Чаадаеву от 1 апреля 1824 г.: «<...> уверяю тебя, что это письмо начинал сто раз, то по-французски, то по-русски» (Чаадаев, 1991б: 34). В письме к А. И. Тургеневу от 20 апреля 1833 г. предлагается совершенно иное речевое поведение, чем в случае с Пушкиным: «<...> Но вы, мой друг, должны писать мне по-французски. Не в обиду вам сказать, я люблю больше ваши французские, нежели ваши русские письма. В ваших французских письмах больше непринужденности, вы в них больше — вы сами. А вы только тогда и хороши, когда остаетесь совершенно самим собою. Ваши циркуляры на

родном языке — это, мой друг, не что иное, как газетные статьи, правда, очень хорошие статьи, но именно за это я их не люблю, между тем как ваши французские письма не сбиваются ни на что, и потому кажутся мне великолепными. Если бы я писал женщине, я сказал бы, что они похожи на вас. Притом вы — европеец до мозга костей. В этом, как вам известно, я знаю толк. Поэтому французский язык — ваш обязательный костюм. Вы растеряли все части вашей национальной одежды по большим дорогам цивилизованного мира. Итак, пишите по-французски и, пожалуйста, не стесняйтесь себя, так как, по милости новой, необыкновенно стоворчивой школы, отныне дозволено писать по-французски столь же непринужденно, как по-явански, где, по слухам, пишут безразлично сверху вниз или снизу вверх, справа налево или слева направо, не терпя от того никаких неудобств» (Чаадаев, 1991в: 78).

Французский для Чаадаева — язык *русского европейца*. Русским европеизмом Пушкин в восприятии Чаадаева явно не исчерпывался. Можно сказать, что для него раскрытие личности с помощью того или иного наречия — процесс естественный и закономерный.

Сам Чаадаев, вернувшись из-за границы и уйдя в добровольное затворничество, мыслил и писал по-французски.

Значительная часть жизни Андрея Синявского прошла в Париже, но французский для него не стал «своим». В его случае двойственность выразилась в выборе персонажа-героя-псевдонима Абрама Терца, иноязычного постольку, поскольку *инокультурного*. Здесь место иного *языка* занимает иной *стиль* — категория, для Синявского чрезвычайно важная, как мы знаем из статьи «Диссидентство как личный опыт», в которой прозвучали известные, хотя и в искаженном виде, слова: «Этот персонаж [Абрам Терц] в отличие от Андрея Синявского склонен идти запретными путями и совершать различного рода рискованные шаги, что и навлекло на его и соответственно на мою голову массу неприятностей. Мне представляется, однако, что это “раздвоение личности” не вопрос моей индивидуальной психологии, а скорее проблема художественного стиля, которого придерживается Абрам Терц, — стиля ироничного, утрированного, с фантазиями и гротеском. Писать так, как принято или как велено, мне просто неинтересно. Если бы мне, допустим, предложили описывать обычную жизнь в обычной реалистической манере, я вообще отказался бы от писательства. И поскольку политика и социальное устройство общества — это не моя специальность, то можно сказать в виде шутки, что у меня с Советской властью вышли в основном эстетические разногласия. В итоге Абрам Терц — это диссидент главным образом по своему стилистическому признаку» (Синявский, 1985: 132).

Чаадаев не был готов к роли отщепенца и не шел на конфликт с обществом сознательно, как это сделал Синявский. Когда на «басманного мыслителя» об-

рушилось осуждение общества, вызвавшее монаршую резолюцию, он принял ситуацию, написав «Апологию сумасшедшего», в которой, как уже говорилось, *сумасшествие* не стало объектом описания. По той же логике на суде Синявский не признал себя виновным, настаивая, что писатель свободен и имеет право публиковаться где угодно, но впоследствии заострял внимание на том, что свободный писатель, конечно же, преступен: «Всякий писатель — это инакомыслящий элемент в обществе людей, которые думают одинаково или, во всяком случае, согласованно. Всякий писатель — это отщепенец, это выродок, это не вполне законный на земле человек. Ибо он мыслит и пишет вопреки мнению большинства. Хотя бы вопреки устоявшемуся стилю и сложившемуся уже, апробированному направлению в литературе» (Там же: 133).

Но преступление — не сумасшествие; возможно, это антитеза.

Заглавие сочинения Чаадаева, равно как и свойственная ему впоследствии зафиксированная мемуаристами манера иронически, иногда с горечью, а иногда и кокетничая, обыгрывать поражение «безумием по приговору высшей юрисдикции страны» (Чаадаев, 1991а: 524), свидетельствуют, что свое «сумасшествие» он принял, если угодно, *стилистически*, сделав частью личного мифа, творимого самим собой. Вот начало «Апологии»: «Но прежде всего, катастрофа, только что столь необычайным образом исказившая наше духовное существование и кинувшая на ветер труд целой жизни, является в действительности лишь результатом того зловещего крика, который раздался среди известной части общества при появлении нашей статьи, едкой, если угодно, но конечно вовсе не заслуживавшей тех криков, какими ее встретили.

В сущности, правительство только исполнило свой долг; можно даже сказать, что в мерах строгости, применяемых к нам сейчас, нет ничего чудовищного, так как они, без сомнения, далеко не превзошли ожиданий значительного круга лиц. В самом деле, что еще может делать правительство, одушевленное самыми лучшими намерениями, как не следовать тому, что оно искренно считает серьезным желаньем страны? Совсем другое дело — вопли общества» (Там же: 523). Заметно, что свою *мысль Чаадаев мыслил* — тавтология осознанная — в глобальном масштабе, в известном смысле подменяя продуктом ума собственную личность. Казалось бы, вот еще одна точка сходства: кабинетный профессор-филолог Синявский, в игровой форме переключивший ответственность за антиправительственную направленность своего творчества на *черного героя* Абрама Терца, то есть на стиль, нескучный для себя самого, также, осознанно или нет, подменял понятие «личность» понятием «стиль» и творил индивидуальную мифологию. Но по самой сути мифологии различны, поскольку строятся на несхожих основаниях.

Итак, после всего сказанного настала наконец пора назвать конституирующее различие между диссидентством Чаадаева и диссидентством Синявского и ответить на вопрос, какое же произведения Чаадаева Синявский не мог написать.

Ответ на первую часть вопроса несложен. Чаадаев принадлежал к типу «государственного ума» (метонимия ум—личность), а Синявский — «частного человека». Это выглядит странно, ведь Чаадаев после того, как поселился во флигеле на Новой Басманной, жил сравнительно замкнуто и уж, во всяком случае, даже после возвращения в свет не занимал важных постов, не имел кафедры, ни стал ведущим публицистом. Преимущественная форма его общественной активности — письма, являвшиеся, что парадоксально, при жизни автора актом частной коммуникации. Известно, что от каких-либо полезных дворянских занятий, от деятельности, имевшей конкретную цель усовершенствования той или иной стороны жизни общества, философ последовательно уклонялся. Но при этом политика и устройство общества, пусть и в общетеоретическом плане, были делом Чаадаева как *потенциально государственного человека*, в соответствии со спецификой и настроением его глобального ума.

Напротив, Синявский, постоянно уворачивавшийся от публичных выступлений и иных видов общественной активности, при малейшей возможности подчеркивал, что он частное лицо, хотя много преподавал, в частности, во Франции, был одним из ведущих публицистов и вынужденно — участником многолюдных собраний, на которых, правда, предпочитал отмалчиваться, слушать, а не выступать. В качестве частного лица он оставлял за собой право высказываться против Советской власти и озвучивать разногласия с нею, прежде всего на эстетическом и стилистическом уровне. Если Чаадаев согласился с тем, что с определенной точки зрения он «сумасшедший», то Синявский никогда не согласился с тем, что он преступник, хотя понял своих противников и вполне доходчиво объяснял их позицию. Для него большинство не обладает преимущественным правом голоса только на основании закона больших чисел.

Если исходный посыл размышлений Чаадаева — осознание своей авторской личности узловым пунктом движения и развития мировой философской мысли (недаром же «Апология», восходящая к Сократу!), то Синявский говорил о «личном опыте», словно специально сужая проблему до границ отдельной личности, лишая ее масштаба, снижая пафос. Если Чаадаев использовал для описания своей ситуации слово «катастрофа», то Синявский говорил только о собственной первоначальной растерянности в камере, а ситуацию в целом рассматривал как логически вытекавшую из предыдущих действий.

По всем этим причинам понятно, что Синявский не мог написать «Апологию сумасшедшего» — то есть в буквальном смысле ни прославлять себя, ни защи-

щать, ни признавать безумным. Причина тому, однако, не только в складе его личности; можно сказать, что на самом деле такую апологию он *создал*, только посвящалась она ни в коей мере не ему самому. Это глава «Отец» из повести «Спокойной ночи», посвященная Донату Евгеньевичу Синявскому.

Привязанность к отцу, возникшая в детстве, не оставила писателя никогда. Характерно выражение «наслаждался отцом», использованное в начале главы: «В раннем детстве отцом я наслаждался больше всего в Рамене, в его летний отпуск, едва он покажется у нас на проселочной дороге, потный, запыленный, верхом на велосипеде, с ружьем через седло» (Синявский, 1998: 163). Здесь показано наслаждение не какой-либо отдельной чертой, действием или состоянием, но целостной личностью. Далее Синявский в подробностях описывает скудный семейный быт, никак не смущавший его отца, «дворянского революционера», презиравшего обыденную устроенность и сытость, подобно Рахметову, ставившего перед собой задачи выше наличных возможностей: «Папа вообще ставил перед собою задачи самые невероятные. В нем билась жилка неудавшегося изобретателя. В Первую мировую войну, ожидая мобилизации, упражнялся писать левшой, на случай если на фронте оторвут правую руку. Из нашей диаспоры нам это непонятно. Это кажется барством, чудачеством. Когда оторвут, тогда и научимся. Мы мыслим прагматически. Но его привлекали вещи, требующие напряжения. Прочитав несколько книг по современной энергетике, он выработал для себя диаграмму, где ничего не пропадает, но входит в мировое пространство облаком натренированной воли. Атеист, он ввинчивался в небо, как электрическая лампочка, и, естественно, на этом терял. Всегда — терял...» (Там же: 165). Прекрасный оратор, презиравший смерть, всю жизнь проходивший в обтрепанных брюках. Аресту Д. Е. Синявского в 1951 г. по подозрению в шпионаже предшествовал долгий обыск, а после того, как подозреваемого увели, «соседи сплетничали, что мы с ним по ночам рыли подкоп под норвежское посольство» (Там же: 166). Все обвинения базировались на деятельности Синявского-старшего в начале 1920-х гг., когда он заведовал в Сызрани уездным отделом народного образования. Сумев документировать свою непричастность к деятельности врагов государства, он надеялся, что его выпустят, но был осужден за антисоветскую агитацию по знаменитой 58-й статье. Оказавшись на поселении в родном Рамене, он далеко не сразу признался приехавшему навестить его сыну, что его *на расстоянии подслушивают из Лефортова*:

«— Но слушай внимательно и зря не перебивай <...> И, пожалуйста, не бойся, что твой отец спятил. Я не исключаю это как вариант, как одну из рабочих гипотез. Но, кстати, поэтому, именно поэтому — раз я могу критически анализировать соб-

ственную голову, — значит, вероятнее, здесь что-то другое, совсем другое ... Техника, изобретение...

<...>

Но учти, я ведь ни на чем не настаиваю, как полагается сумасшедшему. У меня нет никакой навязчивой идеи. Нет страха. Я отдаю себе полный отчет. Если это, действительно, психический сдвиг, допустим, или шок, то, надеюсь, оно пройдет: чувствую я себя сносно. Но если это другое, а я думаю — это другое, я должен тебя предупредить, сам понимаешь... Я и там поставил в известность, что все тебе расскажу, одному тебе, чтобы не было недоразумений. С ними нужно держать ухо востро. А то они там чорт-те что вытворяют...

<...> — Ну в Лефортово, в тюрьме, к концу следствия <...> Но помни: я за себя — не ручаюсь. Возможно, мне только кажется — допускаю. А если не кажется? Если — реально?..

Я слушал отца, не сводя глаз, и ни секунды не допускал, что у него с головой что-то не в порядке, как сам он грустно подтрунивал. Едва мы бросили играть в молчанку и к нему вернулись и всегдашний блеск ума, проявлявшийся в его редкой способности все, включая собственный мозг, критически взвешивать, проверять, и обычная его выдержка, и хладнокровная предусмотрительность, мне бояться за него было бы так же смешно, как усомниться в чистоте и достоинстве этого летнего полдня, созданного, словно нарочно, для обстоятельной, серьезной беседы и нашей прогулки вдвоем, как бывало, по раменским лесам. Я лишь не улавливал полностью, почему он за себя не ручается и о чем предупреждает, если сам, без околичностей, свободно говорит о Лефортово и мнимом своем, под впечатлением тюрьмы, помрачении. И что значило выждать время, наиболее удобное, чтобы меня предупредить?..

— Как — ты еще не понял? — удивился он искренне моему недоумению. — Ну просто сейчас на какое-то время они от меня отключились. Перерыв. А в другие часы подслушивают, и я это чувствую. Это что-то вроде радарной установки, с двусторонней связью. Но только тоньше... В мозг... Понимаешь?..

<...> Меня поражала четкость подробностей и одновременно беззлобный, рассудительный тон, каким отец излагал эти малоприятные факты, запавшие так глубоко в его подключенный мозг, что теперь он, рассказывая, как бы проверял на мне ясную, объективную силу своего рассудка. Ему нечего было скрывать ни от меня, ни от тех, кто мог уже убедиться в его полной невиновности. Возможно, это отсутствие политических прегрешений в прошлом и настоящем, даже в мыслях своих, и заставило его позволить столь беспощадно себя разъять.

<...> По догадкам отца, в Лефортово тогда занимались опытами в области мозга, с помощью аппаратуры, вывезенной из трофейной Германии, которые в полной мере не успел осуществить Гитлер. Что это в точности, — отец, конечно, не знал. Раз, во время допроса, он потерял сознание под действием тока в затылок, посреди уча-

щавшихся, до бешенства, следовательских атак. Предварительно его поставили перед новым, завезенным, которого он прежде не замечал в кабинете, металлическим агрегатом и запретили оглядываться. Очнувшись на полу, на спине, отец запомнил побелевшие, испуганные глаза следователя, который сам, как нянька, его откачивал... <...>

Может быть, они боялись, что перебрали по очкам, а сейчас уже и сами не рады, что не могут полностью отсоединить у себя эту странную, двустороннюю связь с объектом изучения?.. И я не исключаю, что отец, рассказывая мне все эти недозволенные подробности, сам уже держал слухачей или пытался держать, в какой-то мере, на приколе. Ведь все, что он говорил, если не в данную минуту, то какое-то время спустя, прослушивалось в Лефортово. И ссылки на гитлеровскую Германию, откуда все это было позаимствовано, уже звучали не в их пользу. Отец не обличал и не мстил за то, что с ним сделали. Он просто предупреждал этих “дураков”, зарвавшихся с мировым господством, что они переборщили. Стоя в лесу, один, старый революционер, калека, все еще пытался образумить и удержать невежественных последователей от страшного, рокового удара, которому сам уже подвергся...

<...> — Что же, тебе какие-нибудь голоса слышатся? Снятся? Что-нибудь — внушают? Хотят от тебя?!

Нет, ничего не внушают. Нет-нет, не хотят. Просто по временам он разговаривает о чем придется — разумеется мысленно, исключительно мысленно... С кем? С несколькими. Чаще всего с человеком, проводившим испытания — еще там, в Лефортово, и до сих пор находящимся там же, — как отец подозревал, в строгой изоляции. В прошлом это добрый отцовский знакомый — Лев Субоцкий, встречались, разговаривали, а ныне — одновременно арестант и контролер, собеседник, соглядатай... Вероятно, его выбрали как самого подходящего — по мыслям, по языку. Отец на него не в обиде: все-таки свой немножко, с интересными идеями. Впрочем, допустимо, что это кто-то еще выдает себя за Субоцкого: он же в тюрьме в глаза не видел — кто. Иногда к разговору присоединяются другие, чекисты-медики, — послушать, подумать. Но тоже ведут себя лояльно и разумно. Корректно. Никаких угроз или запугиваний. Мании преследования я у отца не заметил» (Там же: 204–210).

В таком контексте слово «апология» актуализировано во всех своих значениях — от защиты до прославления. Ситуация ареста Доната Синявского и следствия над ним была настолько нелепой и абсурдной, что породила временное помрачения ума, сумасшествие у человека, чьи самым сильным качеством была как раз *умственная ясность и трезвость*. И в этом смысле последующая борьба Андрея Синявского с Советской властью, сводящей людей с ума, это со-

противление здравого смысла — системе, насаждающей безумие, искажающей картину мира, искривляющей пути мышления о мире.

Внимательно читая повесть «Спокойной ночи», можно увидеть множество свидетельств подобного помрачения ума у целого ряда персонажей, порой эпизодических. Этой теме посвящена глава «Во чреве китовом», явный, подчеркнутый контекст которой — образ пророка Ионы, бежавшего от Божьей воли и все же согласившегося ее исполнять.

«Вдумчивый историк с удивлением обнаружит всенародный героизм и отзывчивость в нетленном тельце маленького стахановца, замороженного, как Ленин в гробу, для вечной жизни. Всем пионерам пример и взрослым — Павлик Морозов!

Мы, дети, тянемся за ним, за призраком, не цепью стукачей, но в поисках приключений, с честной готовностью к жертвам разведчика в завтрашней войне. Рассматриваем на просвет brave пионерские галстуки с вытканной где-то, по слухам, тайной свастикой, если разведать вредительские нити. Не видим. Старшие, из 7-го “Б”, три свастики, говорят, обнаружили и вовремя предупредили измену, а нашему 5-му “А” с диверсантами не везет. Обычный, пресный кумач...

Одной только Людочке III. что-то померещилось. “Вон! вон! — шепчет. — В середине! — визжит. — Фашистский знак! Вижу! Настоящий фашистский знак!” И как зарезанная: “У-у-у, изверги!..”» (Там же: 294).

Глава «Во чреве китовом» следует за главой «Отец», таким образом создается антитеза: безумие, с которым человек борется силой ума, противостоит безумию, которое принимается за истину. Собственно, это чаадаевская ситуация, ведь истина — то, к чему «басманный философ» стремился всей душой. Однако если для Чаадаева истина — внутреннее движение человеческих масс, для Синявского — это отдельный человек с его правом пребывать в собственном уме, располагаться в нем и распоряжаться им.

Частное лицо Синявский, да еще в ближайшем подтексте играющий в одесского карманщика, не мог написать посвященную самому себе «Апологию сумасшедшего». Даже в «Основах советской цивилизации», жанрово аналогичных, казалось бы, «Философическим письмам», у него фигурируют не народы и их судьбы, не множественность, но единственность каждого. Размышления писателя ведутся в ином масштабе — отдельного человека. Равно как и его осознанный бунт против системы был индивидуальным частным актом. Но, добровольно и осознанно полностью отказавшись от социальных благ и свобод, предоставленных юридической свободой, он мог выстроить собственную судьбу так, как почитал нужным, что в результате послужило началом диссидентского движения и спустя немного лет привело к краху советской цивилизации.

Литература

- Синявский А. Д.* (1985). Диссидентство как личный опыт // Синтаксис. № 15. Париж, 1985. С. 131–147.
- Синявский А. Д.* (1998). Спокойной ночи. М.: Захаров.
- Чаадаев П. Я.* (1991а). Апология сумасшедшего // *Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2-х т. Т. 1. М.: Наука. С. 523–538.
- Чаадаев П. Я.* (1991б). Письмо к М. Я. Чаадаеву. 1824. 1 апреля // *Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма. Том 2. М.: Наука. С. 33–39.
- Чаадаев П. Я.* (1991в). Письмо к А. И. Тургеневу. 1833. 20 апреля // Там же. С. 78–80.
- Чаадаев П. Я.* (1991г). Письмо к А. И. Тургеневу. 1836. Октябрь–ноябрь // Там же. С. 112.
- Эпштейн М. Н.* Мыслительство // Электронный ресурс [код доступа]: https://www.emory.edu/INTELNET/fs_thinking.html (дата обращения: 5 декабря 2019).
- Эпштейн М. Н.* Синявский как мыслитель (Отрывки) // Синтаксис. 1995. № 36. 86–105.